10 класс

1. Внимательно прочтите предложенную ниже подборку художественных текстов и их фрагментов.

- **М. Цветаева «Мой Пушкин» (фрагмент)**

Пушкин меня заразил любовью. *Словом* – любовь… Мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год – в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» – и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы *не* любовь, что *это* – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе:

– Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Онегин!» Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что – сказка, понятное. Прямо не знаю, что мне с ней делать!!!

– Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? – с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами:) «Потому что – любовь».

– Она наверное уже седьмой сон видит! – подходящая Надежда Яковлевна Брюсова[3], наша лучшая и старшая ученица, – и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

– А это, Муся, что? – говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ – улыбки благодарности. На обратном пути – тихом, позднем, санном, – мать ругается:

– Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура – шести лет – влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее – немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они *не* сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда *целовались*, всегда – когда расставались. Никогда – когда садились, всегда – расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он *не* любил (это я поняла), потому и не сел, любила *она*, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес – она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что *он* стоял, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на *нелюбовь* – обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его – *так*, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне *знала*, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но *знала* уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной – единоличной – всей на себя взятой – любви – прямо *гений* на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне «Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку – и руки, не страшась суда – то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах – сделала. И если я потом, когда уходили (всегда – уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

У кого из народов – такая любовная героиня: смелая – и достойная, влюбленная – и непреклонная, ясновидящая – и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны – ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отмстить и свести его с ума, все козыри – чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом

той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: «Я вас люблю, – к чему лукавить?».

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать – к чему? А вот на это, действительно, нет ответа для Татьяны – внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда – в зачарованном кругу сада, – в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда – непонадобившаяся, сейчас – вожделенная, и тогда и ныне – любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она – не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь – первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них – и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь.

- **Д. Лысенко «Свет мой, зеркальце…»**

Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи:
Он скучал по мне хоть каплю,
Хоть на глубине души?

Он искал меня по блюдцу
В чужеземных городах?
Он просил меня вернуться
В полуночных горьких снах?

Он не спал и не обедал,
Отказавшись от всего,
Пока кто-то не поведал,
Как развеять колдовство?

Он сумел разведать тайну?
Он ведь спас меня? Он сам?
Я спала в гробу хрустальном
Шла в лохмотьях по лесам,

Я была морскою пеной,
Зверем диким, просто жуть.
Свет мой, зеркальце, наверно,
Ты напутало чуть-чуть?

Как он мог смеяться, кушать

(с чудо-блюдца!), сладко спать?
Свет мой, зеркальце, послушай,
Как он мог не вспоминать?

Как он мог забыть и выжить,
Пережить - и не спасти?
Свет мой, зеркальце, но ты же,
Только правду... Что, прости?

Как он мог - и как он может? -
Сам меня заколдовать?
Свет мой, зеркальце, ну что же,
Я прошу тебя не врать.

*
Свет мой, зеркальце, ты правду,
Только правду расскажи.
...Свет мой, зеркальце, не надо.
Эта правда - хуже лжи.

- **Е. Ушакова «Он спросил меня, глаза с улыбкой сузив»**

Он спросил меня, глаза с улыбкой сузив:
Что у Пушкина лучше всего, бесконечно прекрасно?
Ну, я сказала, «Воспоминание», «На холмах Грузии»,
«Гимн чуме», с Ходасевичем я согласна.
Но любимей всего то, что Татьяна под занавес говорила
Онегину, напомнив ему, чья очередь сегодня.
Этой речи сердечной, правдивой, милой,
Ничего нет волшебнее и безысходней.
Как любовное признание с местью совместилось безыскусно!
Исповедь с отповедью — так искренне, так серьезно,
И боль, и обида, и живое горькое чувство…
Боже мой, как грустно, как невозвратно, как поздно!

- **Л. Филатов. Гурзуф**

Светлеет море. Отступают страхи.
И можно услыхать за три версты,
Как треснул ворот пушкинской рубахи
От хохота, стихов и духоты…

Минута — и луна в притихших травах
В исполненный торжественности миг
Откроет, как провинциальный трагик,
Напудренный величественный лик.

Здесь все конкретно, крупно и несложно —
Из моря, скал и пляжного песка…
Здесь в истину поверить невозможно —
Настолько эта истина близка.

Зато дана возможность в этом мире
Все заново осмыслить и понять,
И вдруг, узнав, что дважды два четыре,
Впервые удивиться, что не пять!..

Ах, дважды два?.. не может быть сомненья!..
Пусть так. Но здесь всегда бестактен тот,
Кто в этом пустяковом откровенье
Открытья для себя не признает.

Вот истина… Она подходит ближе…
Спеши всплеснуть руками, тугодум!
Здесь «дважды два» нуждается в престиже,
Как только что пришедшее на ум.

…А женщина глядит, не понимая…
Она в своем неведеньи права.
И я шепчу ей на ухо: «Родная!»
И каждый слог в отдельности: «Род-на-я!»
И медленно по буковкам: «Р-о-д-н-а-я!»
…О Господи, какие есть слова!..

- **М. Хейфец «Спасти камер-юнкера Пушкина» (фрагмент)**

И тут я познакомился с отпадной девчонкой. И имя редкое такое – Лера. Я всё хотел спросить: а как будет полное имя? Ну, в смысле, если с отчеством. Элвира, что-ли? Так и не спросил. Если честно, до сих пор не знаю. Лера и Лера…

На худграфе училась. Типа, художница. Старше меня года на два была, а может и больше. Ну да мне это было по фиг.

Жила на Черной речке. Для меня очень даже удачно. Ведь Петроградская это – остров. Кругом мосты. А что это значит? А это значит, что если ты провожаешь девчонку, которая живет на другом берегу Невы, то – всё. Кранты. Стой потом, жди, когда мосты сведут, чтобы домой попасть. И стоял. И ждал. А что делать? Между прочим, мне даже нравилось. Корабли всякие мимо проплывают. Белые ночи. Красиво. Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса... Это, кстати, Пушкин. Точнее и не скажешь. Правильно подметил. А ведь это как раз учить не надо было. Не по программе. А вот, гляди-ка, запомнилось.

Короче, Лера жила на Черной речке. Это через Ушаковский мост, Большая Невка. А он почти никогда не разводился. Вот провожаю я ее как-то. Отношения у нас еще никакие. Так… обняться на прощание. Ну,

поцеловаться… Не более. Но я надежды не теряю. Хожу. Провожаю. Жила она на Матроса Железняка, как раз за сквером, где еще памятник на месте дуэли Пушкина. И вот проходим мы как-то мимо этого сквера, а она мне и говорит:

– Здесь Пушкина убили.

Ну, я-то не зря в 69-й учился. Нас сюда водили, и не раз. Чаще – только в музей Революции.

– Знаю, – говорю. – 27 января 1837 года. Тогда еще мороз был минус пятнадцать и ветер…

Она на меня с уважением посмотрела.

– Пушкина, – спрашивает, – любишь?

Я сразу напрягся. Хорошего-то я от него еще ничего не видел. Одни неприятности. Хмыкнул как-то неопределенно. Получилось, вроде как люблю.

Присели на скамейку. Я руками потихоньку полез. Сидим как раз напротив этой стелы, ну, где дуэль была. Лера возьми и скажи:

– А как же так получилось, что его никто не спас? Да погоди ты…

Это она уже мне. Ну, чтоб я, типа, руками не очень… А чего еще делать? О Пушкине, что ли говорить? По мне так его еще бы в лицее грохнули. Или даже раньше… Но молчу. Киваю.

А Лера не унимается.

– Я, – говорит, – всё думаю: а вот если вдруг оказаться там, в девятнадцатом веке. Ведь, наверное, можно было бы спасти Пушкина?

– Ну, – говорю, можно было бы Дантеса еще раньше вместо Пушкина на дуэль вызвать.

И чувствую: правильно, хорошо сказал.

Лера смотрит на меня уже, как-то совсем по-другому… Хорошо смотрит. Вот оно – покатило.

– Но он же, – говорит, – тебя мог убить, как Пушкина.

Головой только так мотнул. Мол, чего не сделаешь ради Пушкина… и чувствую: момент пришел. Ну не зря же я любовную лирику долбил.

Ну, и выдал:

Все в ней гармония, все диво,

Все выше мира и страстей, –

и так далее, до самой «святыни красоты».

Отбарабанил без единой запинки. Слышала бы меня училка! Прослезилась бы. Падла! Хотя стихи и не по программе. Может, и не по программе, но в точку. Поплыла моя Лера. Дуры все-таки девчонки… Смотрит на меня. Хорошо так смотрит. Я опять под шумок руками полез. Губами тычусь. Тут Лера и говорит:

– Дай-ка я тебя поцелую.

Обняла меня и как поцелует…

Мама! Господи, думаю. Так вот оно как бывает! А сам уже ничего не соображаю. Только Лерины глаза. Белые ночи. Пушкин… Сложилось всё. И хорошо как…

И началась у нас с Лерой вроде как игра такая: стали мы придумывать, как можно было бы Пушкина спасти.

Сколько горя мы через него с Дубасовым приняли! Но за этот Лерин поцелуй я был готов спасти кого угодно – хоть Пушкина, хоть Лермонтова.

Сидели мы часами на этой скамейке напротив места дуэли и придумывали различные планы спасения. Времени у меня тогда было полно. Техникум я уже кончил. В армию еще не взяли. Вечера и ночи с Лерой на скамейке. А днем – в библиотеку. Читаю: что там все-таки произошло?

Сначала казалось всё просто: нет Дантеса – нет проблемы. Пришить его на хрен. Вызвать на дуэль. Взять Дубика в секунданты…

Но это только на первый взгляд. Это – если дело в Дантесе.

Да и не понятно, как его вызвать. Он же только по-французски. Ну, еще по-немецки. А мы с Дубиком с грехом пополам по-английски. Айм – пайныя… Ху из дьюти тудэй?

Получается – языковой барьер. Да и социальный. Не будет со мной Дантес стреляться. Даже и разговаривать не будет.

Но все-таки кое-что придумать удалось. Известно, что Пушкин был страшно суеверным. В приметы верил. Был случай: совсем уже было намылился из Михайловского к дружкам своим в Петербург. Едет в санях, а тут – заяц через дорогу. Очень плохая это примета. Пушкин взял и обратно повернул. И правильно сделал. А то оказался бы с друзьями сначала на Сенатской площади, а потом и «во глубине сибирских руд».

Вот я придумал: когда они будут с Данзасом ехать на Черную речку, пустить ему через дорогу косого. Пусть перебежит дорогу. Ну не сможет Пушкин не повернуть! Тогда ведь, в 25-ом году, повернул.

Или можно попом переодеться. Поп – тоже плохая примета. Встать на обочине. Типа, тремп прошу. Небось, шарахнется еще почище, чем от зайца…

Лере понравилось.

Читаю дальше. Меня уже все старушки библиотекарши узнают. Здороваются. Думают, наверное, что я диссертацию про Пушкина пишу.

А я и впрямь столько начитал – на две диссертации хватит. И чем больше читаю, тем больше понимаю: спасти-то можно, только не ясно от кого. От Дантеса этого – проще простого. Можно, например, было бы расстроить его встречу с бароном. Ну, когда он сидел в этом своём трактире без денег. Заявиться туда русским путешественником. Наше вам... Моя твоя не понимает... Не желаете ли перекинуться в картишки? Гибен зи битте… Да и проиграть ему сколько не жалко. Чтобы хватило на дорогу. Пусть себе катится ко двору принца Вильгельма. Унтер-офицером. Ауфидерзейн! Геккерен со своим сломанным колесом прикатит, а Дантеса уже и след простыл. Не встретились. Не судьба. Вот и нет никакого 27-го января.

Лере снова понравилось. Потом я уже сообразил, что проще было бы Геккерену колесо починить. Наверное, не сложнее кинопроектора. Уж как-нибудь бы справился. И всё. Гудбай, трактир, где я не буду никогда. И хрен с ним, с Дантесом, пусть сидит в этой харчевне.

Опираясь на предложенные вопросы, создайте целостный аналитический текст, интерпретирующий прочитанное:

- Чем, по Вашему мнению, обусловлена логика выбора этих текстов?
- Как соотносится в них реальность жизненная и реальность художественная?
- Как влияют на восприятие Пушкина, его сюжетов и героев, жизненные обстоятельства и личность реципиента*?
- Какими предстают лирические герои (персонажи-рассказчики) в этих текстах?
- Чем обусловлен пафос** их повествования?

2. Продолжением Вашей аналитики должна стать творческая работа – собственные размышления на тему: что школьники XXI в. узнают от Пушкина о любви и применимы ли эти знания в современной жизни? Придумайте креативное название для своего текста, выберите стиль изложения. Постарайтесь быть убедительным и увлекательным.

! Объем обоих текстов определяется лишь задачей наиболее глубокого раскрытия смысла.

*Реципиент – человек, воспринимающий внешние «сигналы», речь, текст, получающий информацию.
**Пафос – эмоциональный тон.